ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

М. Ф. Ахундов адына Азербайджан Республика КИТАБХАНАСЫ

2

МАРТ—АПРЕЛЬ

1965

Год издания XXIII

СОДЕРЖАНИЕ

К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

ГАБИЛЬ. Твои думы не гаснут. Стихи . . 3

АЛИ КЕРИМ. Самый родной человек. Стихи. Переводы Галины Каменной 4

САБИТ РАХМАН. Рассказы о театре. Перевод Игоря Печенева 5

МИРВАРИД ДИЛЬБАЗИ. Азербайджанские пейзажи. Стихи. Перевод Вячеслава Зайцева . 29

ГЮЛЬГУСЕЙН ГУСЕЙНОГЛУ. Мустафа. Рассказ. Перевод И. Третьякова 32

ИСЛАМ САФАРЛИ. Свадьба на Нефтяных Камнях. Преждевременная старость. Забота. Потеряешь... Стихи. Перевод Петра Симонова 52

АЛЕВИЙЯ БАБАЕВА. Жар-птица. Рассказ. Перевод Григория Исаева 54

МАМЕД ИБРАГИМ. Следы. Седина. «Исчезну»... Детские голоса. Зимой на севере. «Сто звонков». Стихи. Перевод Владимира Кафарова 61

МИРЗА ИБРАГИМОВ. Ровшан-садовод. Рассказ. Перевод Виталия Василевского 64

ВАЧЕ ГРИГОРЯН. Лелькин жених. Рассказ. . 67

ГЕННАДИЙ БЕСКОРОВАЙНЫЙ. Петька Рассказ 69

СВЕТЛАНА СОЛОЖЕНКИНА. Красный цвет. Вечер. Гений и злодейство. Позови меня в гости к маю... Раздумье. Глаза, не знавшие грозы. Баку. Стихи 72

АЛЕКСАНДР ХАЛДЕЕВ. Нас найдут археологи. Ярославна. Обтекаемость. «Куда б ни мчал по жизни». Стихи 75

СЕРГЕЙ КУРГАНОВ. Ночью. Лепестками весна увешана. Стихи 77

РАССКАЗЫ О ТЕАТРЕ

САБИТ РАХМАН

Надир-Шах

ГУСЕЙН Араблинский переодевается в гримерной.

Только что окончилось второе действие, где он был разбойником Надиром. В третьем действии он станет Надир-ханом и, наконец, Надир-шахом. Роль сложная, требующая от актера большого искусства перевоплощения и соблюдения чувства меры в психологической трактовке образа; одна из любимейших ролей Гусейна, одна из его самых успешных ролей. Продуманы каждое слово, каждый жест. Кажется, Гусейн в этой роли достиг вершины совершенства.

Однако сейчас он крайне взволнован. И есть отчего. Днем он отослал «корону» Надир-шаха ювелиру, чтобы тот украсил ее стеклярусом, бусами и блестками. Ювелир наотрез отказался возвращать корону, пока ему не заплатят за работу. Он требовал пять рублей. Но где их взять?

Встревожен не только Гусейн, переживают актеры. Все знают: знаменитый трагик не любит выходить на сцену в костюме, где чего-то не хватает. Случается, играет не при полной «амуниции» — и нет уже того блеска, нет обычной вдохновенности.

Сегодня представление бесплатное, тем не менее очень ответственное. В зале нет свободных мест. Большинство зрителей — завсегдатаи театра, верхушка городской интеллигенции. В боковых ложах сидят приехавшие из Баку на гастроли русские артисты, — знакомятся с азербайджанским театром.

Дважды к ювелиру посылали человека. Мольбы и уговоры не возымели действия. Он был из крепкого металла—этот Уста Аслан, не признающий на свете иного божества, кроме золотого тельца.

Нужны пять рублей, всего-навсего какие-то пять рублей!

В уборную Араблинского вбежал возбужденный Гусейнкули Сарабский, играющий роль Мирзы Мехти.

— Важное известие, Гусейн!

— В чем дело? Ювелир вернул корону?

— Пока нет! — Сарабский приблизился к Гусейну и, понизив голос, сообщил: — у Садык-бека есть пятерка.

— И что?.. Не дает?

— Не признается, что он при деньгах. Но ребята видели: когда он гримировался и надевал костюм посла, сунул деньги в карман чухи.

— Зови его!

Сарабский вышел.

Гусейн подправил грим, затем присел на край стола, скрестив на груди руки.

Садык-бек не был профессиональным актером. Основным его занятием было маклерство на бирже. Он помогал театру — продавал билеты, заходя в лавки, магазины, частные дома. Это был настырный, нагловатый субъект. Тому, кто попадал в его лапы, редко удавалось вырваться, не купив билета. Случалось, Садык-бек участвовал в спектаклях. Жадность его была необычайна. Он постоянно утаивал деньги от продажи билетов, очевидно, используя их как капитал в своих коммерческих махинациях. Когда к нему обращались с просьбой дать взаймы, он клятвенно заверял, что у него в кармане нет ни гроша. «Сам побираюсь. Жизнь собачья!..» — при этом на глаза его набегали слезы.

В гримерную вошли Сарабский и обладатель заветных пяти рублей. Гусейн придирчивым взглядом окинул Садык-бека с ног до головы.

— Во всем нужна мера, Садык. Или ты собрался на маскарад? Зачем так перетянулся? Ослабь кушак. Теперь вот что... Если память не изменяет мне, ты должен нам двадцать рублей за билеты. Гони деньги!

Услышав слово «деньги», Садык-бек запрядал ушами, как лошадь, почуявшая беду.

— Какие деньги?! Что вы пристали ко мне?! — огрызнулся он. — Идите возьмите их у тех, кто покупает ваши билеты в кредит. Раскошелятся они — и я рассчитаюсь с вами.

— Нам нужны пять рублей. Сейчас, сию минуту! Слышишь?!

— У меня нет ни копейки.

— Ребята видели у тебя пятерку.

Садык-бек вздрогнул, будто его укололи иголкой. Гусейн отметил это про себя.

— У ваших ребят галлюцинация от голода! — выкрикнул истерично Садык-бек, пятясь к двери. — Нет у меня никаких денег! Понятно вам?.. Нету!.. — И выскользнул из комнаты.

— Пошли на сцену. Пусть поднимают занавес, — спокойно сказал Гусейн.

В глазах Сарабского отразилось изумление.

— Я не ослышался, Гусейн?! А как же твоя корона? После этого действия у нас будет только пятнадцать минут. Мы не успеем принести ее от ювелира. Деньги нужны немедленно.

— На сцену, Гусейнкули!

Коридор перед гримерной был забит артистами. Араблинский обернулся к другу и шепнул:

— На сцене делай то, что я скажу.

Третье действие началось.

Справа на сцене — крепостные стены Хорасана, слева — походные шатры войска Надира. Надир (Араблинский) один на сцене. Входит Мирза Мехти (Сарабский). Надир, очнувшись от раздумий, поднимает голову.

НАДИР — Мирза, ты? Кто там пришел? Чей это голос?

МИРЗА МЕХТИ — Вас хочет видеть посол, прибывший от афганцев.

НАДИР — Посол?! (Встает.) Милости просим. (Мирза Мехти выходит, Надир один). Видно, ощутили силу моего кулака. Что там — посол?! Я думал, придет сам хан и будет умолять меня оставить его в покое. Не бывать этому. Он может просить меня быть милостивым к его подданным, даровать ему жизнь. Речь может быть только об этом.

Входит Садык-бек в одеянии посла.

ПОСОЛ (кланяясь) — Меня прислал мой хан.

НАДИР — Приятно слышать это. Чем могу служить?

ПОСОЛ— Хан считает, что прекращение войны послужит всеобщему благу.

НАДИР (сдерживая негодование) — Каковы его условия?

ПОСОЛ — Хан согласен заплатить достойную дань.

НАДИР (насмешливо) — Город осажден моим войском, а ваш хан хочет отделаться обычной данью?! Чудесная идея. Не кажется ли вам, почтеннейший посол, что ваш хан — большой мечтатель?

ПОСОЛ — Он обещает также впредь никогда не нападать на Иран

НАДИР (с иронией). Передайте вашему хану, почтеннейший посол, чтобы он приготовился принять сегодня мои условия. Я изложу их письменно и отправлю ему. Он подпишет их со связанными руками. Такова моя воля.

ПОСОЛ (в недоумении) — Не понимаю.

НАДИР — Ничего, поймете через час, если аллаху будет угодно! Как видно, ваш хан мало что смыслит в ратных делах. Он еще не ощутил моей силы, — только этим можно объяснить его смехотворные предложения. Где логика?! Вы захватываете наши земли, доставшиеся нам от наших дедов и отцов, грабите, оскверняете наши священные места, и мы еще должны принимать ваши условия, хотя силы на нашей стороне?!. Если ваш хан желает избежать плена и не хочет напрасного кровопролития, он в течение двух часов освободит крепость Хорасан, иначе я сегодня же сравняю город с землей, родителей оставлю без детей, а детей сделаю сиротами. Так будет.

Зал взорвался аплодисментами. Как всегда, этот монолог Араблинский произнес вдохновенно. Он стоял, пронизывая испепеляющим взглядом посла афганцев. Сейчас он покажет рукой на дорогу и скажет ему: «Это все, ступайте!», после чего посол удалится. Однако Гусейн, вместо этого, настороженно посмотрел на посла и неожиданно приказал:

— Эй, Мирза Мехти! Этот человек кажется мне подозрительным! Нет ли при нем оружия?! Может, он замышляет убить меня? Обыскать его! Проверьте его карманы!

Мирза Мехти (Сарабский), никак не ожидавший такого отступления от текста, растерялся на миг, затем, смекнув, в чем дело, схватил посла (Садык-бека) за руки.

В те времена Сарабский был молод и полон сил. Друзья в шутку называли его «телохранителем азербайджанского театра». Он мигом свалил на пол растерявшегося Садык-бека и обшарил его карманы. Затем подошел к Гусейну и чуть слышно шепнул:

— Все в порядке, деньги у меня. — И громко добавил: — В его карманах нет оружия!

Араблинский, глядя с хитрой усмешкой на посла, указал рукой на дорогу и сказал слово в слово по тексту:

— Это все, ступайте!

Обескураженного Садык-бека била дрожь. Выпучив глаза, он пятился со сцены. Едва он исчез за кулисами, зрители, восхищенные его «талантливой игрой», горячо зааплодировали.

После представления, разгримировавшись и сдав костюмы в гардеробную, Араблинский и Сарабский вместе вышли из театра.

От недавно прошедшего дождя водосточные трубы и тротуары тускло поблескивали. В напоенном сыростью воздухе плыл слабый сладковатый аромат кавказского ясеня. На улице было пустынно. Город погружался в сон.

Пора расходиться по домам.

Вдруг друзья увидели на углу фигуру Садык-бека. Они приблизились.

— Эй, Мирза Мехти! — напыщенно обратился Гусейн к Сарабскому. — Все же этот посол кажется мне подозрительным. Обыщи-ка его! Может, в его карманах завалялась еще одна пятерка?!

Садык-бек, видя, что Сарабский направляется к нему, воскликнул:

— Не подходите!.. Не подходите ко мне!.. Полицейского позову!.. — и пустился наутек.

Араблинский захохотал:

— Эй, Садык, или ты не оценил великодушия Надира?! Ведь он мог вкатить тебе десяток плетей. Не забудь про должок. До встречи... на сцене!

Разбитое зеркало

I

Не перестаю удивляться моему отношению к приметам и предрассудкам. Например, что может быть несуразнее веры в недоброжелательство черной кошки, перебежавшей тебе дорогу?

Сейчас я думаю: откуда мне известно все это? Никто не учил меня приметам, тем не менее я их знаю. К чему бы?..

Повторяю, я не суеверен. Однако значит ли это, что я не замечаю кошек, перебегающих мне дорогу? Увы, замечаю, даже за целый квартал. И не только черных — буквально всех мастей. Отчего бы это? Ведь я не верю в приметы.

Мне известны многие прописные истины, такие, как: мир материален, материя — первична, сознание — вторично, и прочее и прочее.

Для миллионов стало аксиомой, что нет в мире иного божества, кроме природы, которая развивается по своим, никем не предопределенным законам, а человек, его мозг — самая сложная и совершенная, самая прекрасная и удивительная форма существования материи, так сказать, коронный номер природы. И нет на свете ни злых духов, ни чертей, ни ведьм, ни, увы, добрых, волшебных фей.

Но скажите, кто из нас, вешая на стену зеркало, не терзался тайной мыслью, не проявлял двойной осторожности: не упало бы, не разбилось бы! И дело здесь не только в нашем бережном отношении к вещи. Налицо влияние нелепого предрассудка.

Откуда это в нас?

Есть цельные, железные характеры, люди без предрассудков в прямом и самом хорошем смысле. Такого не смутят пустые ведра. Трещина на зеркальце в крышке футляра электробритвы, извлеченной из чемодана в номере гостиницы после долгой дороги, не омрачит его кремневого настроения. Этот командировочный с сильной волей только усмехнется в усы и скажет: «Чепуха! Не верю в приметы!».

Однако, заметьте, все-таки он скажет это. А к чему?.. Скажет—значит, что-то подумает. Хотя бы то, что вера в приметы — абсурд. Но раз приметы — абсурд, зачем вообще о них думать?

Откуда в нас даже это — думать о бессмысленности примет? Атавизм? Отголосок давнего постоянного страха перед завтрашним днем за свою судьбу, за жизнь?

К счастью!.. К несчастью!.. К удаче!.. К беде!... К слезам!.. К радости!.. Жить!.. Умереть!.. Много примет, но, оказывается, все в них просто, все сводится к тому, будет ли человеку хорошо или плохо.

С грустью я думаю, не от доброй жизни поверили наши прадеды в приметы.

И кровь наша хранит память об этом.

Случай! Вот еще один виновник наивной и печальной веры наших предков в приметы. Не он ли порой и в нас раздувает почти угасшие искорки суеверий?

Хорошо тем, кто читал серьезные книги и твердо усвоил простую истину о закономерности всякого случая. А как быть тем, кто не знает подобных аксиом, кого когда-то где-то больно ударила жизнь, а перед этим они в силу элементарной закономерной случайности раздавили в дороге маленькое карманное зеркальце?

Я смеюсь над моими друзьями, которые избегают на улице черных кошек. Смеюсь, но в смехе моем нет злой иронии и издевки. Вам легко понять меня. Точно так же у меня часто бывает повод посмеяться над самим собой.

Но, повторяю, я не верю в приметы.

Забываются приметы, и это хорошо. Это тоже добрая примета, примета времени. Уж ей-то нельзя не верить.

Из далекого прошлого в память мою стучится одна совсем незабавная история, которую я запомнил бы, не будь она даже связана с одной из примет, упомянутых выше, с одной из самых «роковых» примет.

Я расскажу ее вам. Неоригинальность и обыденность (разумеется, не для меня!) этой истории послужит как бы противовесом моим мудрствованиям по поводу примет.

Я был не единственным в нашем самодеятельном театральном коллективе, кто втайне вздыхал по Хадидже. И дело вовсе не в том, что мне тогда, как и ей, было всего-навсего восемнадцать лет.

Даже сейчас, когда время имело возможность притупить в нас остроту восприятия давно прошедших событий и покрыть ржавчиной добродушной снисходительности наши ощущения былого, того, что некогда считалось нами весьма дорогим, подчас всем — жизнью и смертью, повторяю, даже сейчас, думая о той своеобразной девушке, я не могу не сказать: Хадиджа была по праву достойна нашего внимания и любви, больше — поклонения.

В рассказах принято рисовать портреты героев и героинь. Я убежден, моя попытка соблюсти эту традицию обречена на неудачу.

Хадиджа цветом лица напоминала белую черешню. Слабый румянец на матовой коже казался несмываемым гримом, нанесенным искусным художником при самом ее рождении. Разумеется, она была стройна, длинноногa, большеглаза. Что еще?.. У нее была толстая коса ниже пояса и большой чувственный рот.

Но не в этом была причина ее необычности. Сказать, что Хадиджа была красива, — недостаточно. Мало ли девушек стройных и большеглазых, с длинными косами?!. Кроме того, у каждого свой идеал женской красоты, которую невозможно точно воспроизвести словами, затертыми и глухими, когда речь идет о живом человеческом лице. И кто станет отрицать, что любой словесный портрет, пусть даже самый кра-

сочный и выразительный, не способен воскресить в нашем воображении облик девушки таким, какой он есть в действительности. Большую роль (если не главную) в ощущении нами человеческой красоты играет внутренний, духовный мир этого человека. По-моему, своеобразие этого мира, душевное обаяние и являются той живой водой, которая возвращает мертвой царевне то, без чего ее неземная красота — всего лишь декоративная, картинная внешность.

Всегда и везде, где бы Хадиджа не появлялась, она приковывала к себе внимание всех — безусых парней, таких как я, зрелых мужчин, даже стариков. Девушки, ее сверстницы, женщины всех возрастов, можно сказать, благоговели перед ней. Я и сейчас с удивлением думаю, почему красота Хадиджи не была предметом зависти ее подруг и молодых женщин нашего городка? Объяснение может быть одно: есть люди с особым складом ума и своеобразным характером, которые притягивают к себе окружающих, как магнит.

Хадиджа не была чрезмерно говорлива, излишне весела и остроумна. Ей не было свойственно кокетство — почти неизменный спутник большинства красивых девушек. Но все, о чем она говорила, было как-то многозначительно и интересно. Ее реплики во время обычного общего разговора заставляли нас всех оборачиваться к ней и делали наш разговор более осмысленным, интересным, будто вселяли в него жизнь.

Даже маленькие дети тянулись к Хадидже. Однажды я стал свидетелем случая, который поразил меня.

Пятилетняя дочь нашей уборщицы Сусанны подбежала к Хадидже в вестибюле клуба и начала упрашивать ее прийти к ней в гости. «Сегодня мой праздник, день рождения, — говорила девочка. — Ты придешь к нам? У меня есть красный мячик, мы поиграем с тобой. Скажи, придешь? Я люблю тебя!» Хадиджа ответила не сразу, опустилась перед девочкой на корточки, удивленно-весело заглянула в ее глаза и тихо серьезно сказала: «Сегодня я не могу, малышка. Вечером у нас спектакль. Принеси завтра мячик сюда, и мы поиграем». Неожиданно девочка заплакала. Но как-то странно, почти беззвучно, — просто по лицу ее катились слезы. Так плачут взрослые, когда им очень больно. В ту минуту я понял: маленькая дочь Сусанны, как и все мы, давно испытывает на себе обаяние этого человека — нашей Хадиджи. А ведь она разговаривала с ней впервые.

Добавлю ко всему этому: Хадиджа была талантливой актрисой. Она с равным мастерством играла все роли героинь в пьесах, которые ставил наш самодеятельный коллектив. Более всего ей удавался образ Севиль в одноименной пьесе Джафара Джабарлы.

Часто молодость, со всем тем, что ей сопутствует, мешает упорному труду.

Это сказано не о Хадидже. Она старательно готовила порученные ей роли, была примером трудолюбия. Прибавьте к этому ее талантливость. Любовь зрителей, их восторженные овации были ей постоянной наградой.

Несомненно, в ее успехе была немалая заслуга и нашего художественного руководителя Бахыш-муаллима, преподававшего литературу в местной десятилетке, человека восторженного, фанатично влюбленного в театр, музыку, вообще во все, что имеет отношение к искусству. Он был душой нашего коллектива, как Хадиджа — его кумиром.

На репетициях Бахыш-муаллим уделял Хадидже внимания больше, чем всем нам. Мы привыкли к такому положению, считали его вполне естественным, так как верили в яркую звезду Хадиджи, в ее большое будущее.

Замечу мимоходом, Бахыш-муэллим был человеком незаурядного актерского дарования, однако в последние годы больное сердце мешало ему принимать участие в наших спектаклях.

Играя на сцене, Хадиджа поражала нас неизменной вдохновенностью, темпераментом, выразительным, богатым интонациями голосом.

«Откуда это у нее?!.» — не переставали мы восхищаться.

Нам было известно: не мы причина очередей у кассы и аншлагов в нашем стареньком, но вместительном клубе. Хадиджа, ее прирожденная талантливость и обаяние делали районный клуб местом паломничества жителей городка.

Хадиджа хорошо понимала все это. Скажу больше, тщеславие было ее ахилесовой пятой.

Случалось, она шутливо говорила:

— Интересно, что бы вы делали без меня?

Как она любила аплодисменты, как жаждала поклонения зрителей! Порой даже досадовала, когда аплодисментами награждались все актеры, занятые в сцене, а не она одна. И как радовалась, как по-детски была счастлива, если какой-нибудь ее монолог вызывал в зале восхищенные возгласы.

На улице ей доставляло удовольствие, когда ее узнавали, оборачивались, указывали на нее пальцем.

Ответьте мне, кто в юности не мечтает о славе?

Никто из нас не осуждал Хадиджу. Скажу точнее: мы считали само собой разумеющимся ее стремление к славе, упоение этой славой, словом, оправдывали зазнайство Хадиджи и тем самым портили ее.

Сейчас, по прошествии многих лет, мне хочется сказать: мы помогли Хадидже совершить тот неверный шаг, послуживший как бы первым актом подлинной человеческой трагедии.

Редкий сценический талант этой девушки заставлял нас прощать ей ее слабости. Черт возьми! Мы были молоды в то время. Мы не думали, что сцену надо любить во имя большого искусства, а не ради личной славы.

Среди нас, молодых актеров-любителей, существовало убеждение: «Талант имеет право на капризы. Все великие актеры были тщеславны!»

Как мало мы знали тогда, как заблуждались!

Разумеется, и Бахыш-муаллим знал больное место Хадиджи. Часто на репетициях он по-отечески журил всеобщую любимицу, отчитывал ее, как нам казалось, без всякой на то причины. В такие минуты Хадиджа не могла скрыть своего недовольства. Были случаи, она уходила с репетиции, хлопнув дверью.

Мы осуждали Бахыш-муаллима за резкость, считали: старик — неплохой режиссер, но немного самодур.

Я играл роль Балаша. Как сейчас помню, на сцене, вопреки замыслу автора, я убивался и страдал оттого, что мне приходится терять прекрасную Севиль. После спектакля Бахыш-муаллим говорил мне:

— Неверно играешь в последнем действии. Зритель должен испытывать к тебе отвращение, а он начинает жалеть тебя, верит, будто ты действительно любишь Севиль.

Я не мог пересилить себя. Стоило мне увидеть Хадиджу, я забывал, что я на сцене, забывал про образ. Декорации не существовали для меня.

Это оттого, что я любил Хадиджу, глубоко, пылко и тайно. Увы, тайно. У меня не хватало смелости заикнуться ей об этом.

Мы жили по соседству. Наши дворы были разделены невысоким деревянным забором. Часто вечерами мы сидели с Хадиджой под большим ореховым деревом, говорили о театре, искусстве и многом другом.

Я думаю, мои руки повинны в том, что Хадиджа догадывалась о смятении, царившем в моем сердце. На репетициях и во время спектаклей, когда я прикасался к ее маленьким рукам, пальцы мои начинали дрожать помимо моей воли.

Хадиджа относилась к этому равнодушно. Я не был ее идеалом, просто—сосед, партнер по сцене, товарищ, не больше.

Постепенно я начал замечать, что ее интересуют люди с положением, ответственные работники нашего района. Я сделал это заключение из бесед с нею. Очевидно, развившееся в Хадидже не без нашей помощи тщеславие давало свои плоды.

Мне запомнился один спектакль. Хадиджу много раз вызывали на сцену. Не только зрители, но и мы, ее товарищи, страстно аплодировали ее игре. В этот вечер, впрочем, как и всегда, казалось, будто в клубе празднуется ее юбилей.

Домой мы возвращались вместе. Мать ее, Фатьма-хала, часто просила меня:

— Не оставляй Хадиджу одну, ходите вдвоем.

Излишне объяснять, почему я старался свято выполнять просьбу Фатьма-халы. Даже когда я был занят только в первом действии, я оставался до конца представления, ждал Хадиджу.

Спектакль окончился позже обычного. Хадиджа, переодевшись, разыскала меня.

— Пошли скорей, мама будет беспокоиться!

И тут я увидел в ее руках большой букет роз, алых и белых, и таких свежих, что мне захотелось прижаться к ним лицом. Я перевел взгляд на Хадиджу. Она улыбалась каким-то своим мыслям.

Мы вышли из клуба. Я не выдержал, спросил:

— Кто подарил тебе цветы?

Мое любопытство можно было оправдать, ибо у нас не было принято, чтобы посторонние приходили за кулисы и дарили актрисам цветы.

Хадиджа загадочно улыбнулась:

— Так... Один неизвестный человек... Об этом не спрашивают.

В тот вечер я не придал большого значения букету роз.

Шли дни. Хадиджа начала все чаще и чаще уходить из клуба с цветами. Это насторожило меня, я огорчался. Чем больше цветов она получала, тем больше кривотолков ходило в нашем коллективе.

Конечно, сама Хадиджа знала, кто посылает ей эти цветы.

В наших отношениях с ней появилась отчужденность. Теперь по вечерам мы не возвращались домой вместе. Ее провожал другой, тот «неизвестный человек», даривший ей розы.

По городу прошел слух, будто Хадиджа выходит замуж за товарища Рамазанова, заведующего райфинотделом.

Мне навсегда запомнился день, когда я впервые услышал об этом. До самого вечера я не мог найти себе места.

На вечер у нас была назначена репетиция. Я решил поговорить с Хадиджой. Разве Рамазанов пара ей? Ведь она мечтает посвятить себя искусству, театру. Как случилось, что теперь она решила стать женой этого человека? Не может быть и речи, будто кто-то принуждает ее к этому шагу. В городке у Хадиджи нет родственников, кроме ее матери, женщины темной и бессловесной. Ясно, если она сама не пожелает, свадьба не состоится.

Рамазанов был из той породы ответственных работников районного масштаба, которым не приходится долго пребывать в одном учреждении. Он постоянно перекочевывал с одной руководящей должности на другую.

Никто не называл его по имени. В городе он был известен всем как «товарищ Рамазанов». Прежде он работал заведующим коммунхозом, но лавров на этом поприще не снискал. Его перевели заведующим роно. Он и здесь не оказался на высоте. Тогда его послали заведовать райфинотделом.

Можно подумать, у Рамазанова на роду было написано руководить и выполнять функции заведующих и директоров. Несомненно, это именно так, ибо почти всем в городе было известно, что к любой иной работе он не способен.

На новом посту Рамазанов чувствовал себя как рыба в воде. В его распоряжении была новенькая черная «эмка», в которой он курсировал по городу с утра до вечера.

Внешне Рамазанов был неприглядан настолько, что вызывал чувство отвращения не только у женщин, но даже у мужчин. У него были мясистые щеки и отвислые сизые губы; лицо — почти постоянно небритое; цвет глаз — водянисто-серый; взгляд — наглый, плутоватый, ускользающий от собеседника; речь — невыразительная, бессвязная.

Душевные качества его также оставляли желать много лучшего, — пустой, ограниченный обыватель.

Что могло привлечь в этом человеке нашу Хадиджу?

Я ломал голову над этой загадкой и пришел к выводу: Хадиджа стала жертвой своего тщеславия. Образно говоря, товарищ Рамазанов вместе со своим пухлым директорским портфелем въехал на новенькой «эмке» прямо в ее неискушенное сердце.

Всем нам было понятно: именно эта сверкающая лаком машина вскружила голову нашей Хадидже, столь падкой к внешнему блеску.

Вечером Хадиджа не пришла на репетицию. Без нее нам было нечего делать, и мы вскоре разошлись.

Я поплелся домой с тяжелым сердцем. Попытался занять себя чтением — мысли разбегались, я не мог сосредоточиться. Комната угнетала меня.

Я вышел во двор и перелез через забор в их сад. Каждое деревцо, каждая тропинка здесь были знакомы мне.

Одно из окон дома Хадиджи светилось. В темноте я пробрался к нему. Перед ним росли густые кусты сирени. Я раздвинул ветки, влажные от вечерней росы, и заглянул в комнату.

Что же я увидел?..

За столом сидел товарищ Рамазанов в новом сером костюме. Черный галстук, черные тоненькие усики, гладкие черные волосы, зачесанные назад, молодили его. Тем не менее рядом с юной Хадиджой он казался стариком. На другом конце стола сидела Фатьма-хала. Они молчали. Хадиджи не было в комнате. Но вот вошла она с чайным подносом в руках, поставила перед Рамазановым стакан чаю, села рядом.

Гость сделал несколько глотков и сказал что-то, обращаясь к Фатьме-хале. Та уныло улыбнулась и кивнула головой в сторону дочери. Хадиджа рассмеялась и громко, так, что услышал даже я, сказала:

— Мамочка, вопрос давно решен! Товарищ Рамазанов советуется с тобой, спрашивает, когда удобнее устроить свадьбу.

Я не понимал, о чем они говорили дальше. Для меня это было уже безразлично. Я отошел от окна, перелез через забор в свой двор и лег на траву у колодца.

Холодные звезды смотрели на меня безучастно. Листочки тополя, растущего у забора, шептались о чем-то, равнодушно и монотонно. «Сплетники!.. Сплетники!. — хотелось мне крикнуть им. — Замолчите!..»

Не помню, сколько часов я пролежал так. Время остановилось для меня. Мой мозг лихорадочно работал. «Как помешать этой свадьбе?.. — думал я.—Что предпринять?». В моем воображении, помимо моей воли, рождались всевозможные фантастические планы, которые я тут же отвергал. Наверное, мое состояние можно точно объяснить одним словом: отчаяние.

Неожиданно в голову пришла еще одна мысль: «Ведь с замужеством Хадиджи перестанет существовать наш самодеятельный театральный коллектив. Ну конечно! Как я не подумал об этом раньше?!.» Я ухватился за эту мысль, как утопающий за соломинку. Возможно, подсознательно я надеялся, что это обстоятельство способно что-то изменить, помешать их свадьбе. Разве это не веский аргумент против замужества Хадиджи?!

«Хадиджа погибнет — для нас, для зрителей, для сцены, — говорил я себе. — Как-никак замужество связано с хлопотами по семье, дому, заботами о детях. До театра ли ей будет?! Выходит, дело не просто в моей любви, моей ревности, моем нежелании видеть Хадиджу женой другого. Она просто не имеет права ставить под удар общественно-полезное дело — наш театр, который создавался с такими трудностями и стал частью нашей жизни».

О, святая глупая юность! Я начал убеждать себя, будто мне безразлично, за кого выйдет Хадиджа, за Рамазанова или за старого лысого заведующего нашим клубом.

«Надо поговорить с ней по-товарищески, — решил я. — Ведь она комсомолка и должна признать свою ошибку...».

Автомобильный гудок за воротами прервал мои размышления. Я догадался: Рамазанов укатил.

Я поднялся с земли и вышел на улицу. Через минуту я увидел Хадиджу, которая, прокатившись с женихом до угла, возвращалась домой.

При виде меня она немного смутилась.

— Ты за мной? — спросила она удивленно. — Но ведь уже поздно, час ночи. Какая тут репетиция?!.

— Репетиция не состоялась, — ответил я и вдруг почувствовал, что вся моя решимость мгновенно улетучилась. — Мне надо сказать тебе несколько слов.

— Пошли к нам.

— Нет, я хочу поговорить с тобой с глазу на глаз.

— Тогда пойдем в сад.

Хадиджа взяла меня за руку и повела за собой.

Мы сели на скамейку в их саду под кустом сирени.

Обернувшись к дому, она крикнула:

— Мама, я здесь! Скоро приду.

Мы не раз сидели на этой скамейке, вот так, рядом. Но сейчас, мне показалось, между нами встала непреодолимая стена — отчужденность.

Затянувшееся молчание начало тяготить Хадиджу.

— Ну?.. Долго мне ждать?..

Я робко выдавил из себя:

— Выходишь замуж?

— Выхожу.

— А как же сцена?.. Как наши спектакли?

— Не понимаю, при чем здесь спектакли.

— Тебе не жалко бросать театр? Ведь ты хотела посвятить себя искусству, мечтала о славе.

— Какое отношение имеет театр к моему замужеству?

— Пойми, Хадиджа, день, когда ты станешь женой Рамазанова, будет днем твоего прощания со сценой.

Она резко повернулась в мою сторону. Даже темнота не помешала мне разглядеть: лицо ее было чужим и раздраженным. Я понял, сейчас Хадиджа уйдет от меня. Так и случилось. Но прежде она желчно сказала, чеканя слова:

— К вашему сведению, я выхожу замуж исключительно ради сцены. У Рамазанова есть друзья в бакинском драматическом театре. Я решила бросить учебу. Сразу же после свадьбы уеду в Баку. Когда вы увидите мое имя на афишах, когда все заговорят обо мне, вам, сплетникам, станет стыдно.

Она поднялась со скамейки и, не простившись, ушла в дом.

Спустя несколько дней, звуки кларнета и барабана в соседнем дворе возвестили о том, что жених, товарищ Рамазанов, явился за невестой.

Я вышел на улицу.

У ворот дома Хадиджи собралась толпа. Стояли четыре фаэтона, один грузовик и персональная машина Рамазанова. Среди зрителей преобладали женщины и дети. Уже немолодые усатые мужчины (дружки жениха) выносили из дому приданое невесты и складывали его в кузов грузовика, украшенного цветами. Шофер в папахе набекрень без конца сигналил, доставляя большое удовольствие детворе, которая оглашала улицу криками.

Звуки кларнета и барабана стали неистовее. Ворота распахнулись. Товарищ Рамазанов под руку вывел невесту на улицу.

Едва я увидел Хадиджу, в груди моей похолодело, сердце замерло, затем бешено заколотилось. Не понимаю, как я сдержал себя и не разрыдался.

На ней был светло-серый костюм, который она надевала в последнем действии «Севиль». И прическа ее была, как у Севиль. В какое-то мгновение мне показалось, будто мы на сцене, и я играю роль Балаша. Хотелось подбежать к ней, упасть на колени и умолять: «Севиль, верни мне жизнь!..».

За женихом и невестой двое парней несли большое, с человеческий рост, зеркало в позолоченной раме. За ними шли две женщины, у каждой в руке — зажженная свеча.

И тут произошло неожиданное: парень, тот, что шел слева от зеркала, оступился, нога его подвернулась, и он упал на колено. Его напарник не смог один удержать тяжелое стекло; оно выскользнуло из его рук, упало на ребро, потом плашмя на булыжную мостовую и со звоном разбилось. Идущие следом женщины испуганно вскрикнули, как по команде.

Смолкли кларнет и барабан. Все, кто сидел в фаэтонах, выпрыгнули на землю.

Мать Хадиджи заголосила:

— Вай!.. Горе мне!.. Горе нашему дому!. Беда будет!..

Женщины в толпе зашептались:

— Дурная примета...

— Разбитое зеркало — к несчастью....

— Бедная девушка...

Я поискал глазами Хадиджу. Она стояла у распахнутой дверцы «эмки», бледная, растерянная, с застывшим лицом.

Товарищ Рамазанов тоже был огорчен происшедшим. Однако, мне показалось, его удрученность была вызвана вовсе не дурной приметой. Он так внимательно и с таким сожалением разглядывал осколки зеркала, словно прикидывал, нельзя ли их собрать и склеить. Убедившись,

что дорогая вещь потеряна безвозвратно, он грубо сказал, обращаясь к окружающим:

— Что стоите?! Садитесь, поехали!..

Женщины вновь полезли в фаэтоны, мужчины — в кузов грузовика. Хадиджа (в этот момент она показалась мне маленькой беззащитной девочкой, Красной шапочкой, рядом с серым волком — Рамазановым) села в черную «эмку». «Серый волк» метнулся за ней на заднее сидение. Дверца машины оглушительно выстрелила. Шофер дал несколько долгих сигналов, и свадебная процессия двинулась в путь...

Через месяц мы послали к Хадидже одну из ее подруг, приглашая на репетицию.

В ближайшее время нам предстояло вернуться к пьесе Джафара Джабарлы «Айдын», которую мы некогда ставили. Необходимо было срочно провести несколько репетиций. На улицах уже висели афиши, которые крупными буквами оповещали, что роль Гюльтекин будет играть Хадиджа.

В клуб на репетицию, вместо Хадиджи, явился товарищ Рамазанов.

— Что вам надо от моей жены? — спросил он, обращаясь сразу ко всем. — Зачем вызываете ее?.

— Мы вызываем не вашу жену, а нашу актрису, — сдерживая волнение, тихо ответил я.

Рамазанов насупил брови и вызывающе уставился на меня.

— Вашу актрису?! Кто она такая — ваша актриса? Если вы имеете в виду Хадиджу, то зарубите себе на носу: теперь она моя жена, и я не позволю ей переступить порог этого балагана.

Он повернулся, чтобы уйти, но тут взгляд его упал на афишу, висевшую на стене, где большими буквами было написано: ГЮЛЬТЕКИН—ХАДИДЖА. Он вне себя одним рывком сорвал лист, разодрал на куски и вышел из комнаты.

Нас до глубины души возмутило поведение Рамазанова. Не теряя времени, мы пошли в исполком, оттуда — в райком комсомола и пожаловались на Рамазанова. Вместе с нашим секретарем Джахангиром мы написали гневную статью и отнесли ее в районную газету.

Мы готовы были стереть Рамазанова с лица земли.

Однако в редакции газеты, как и в исполкоме, нам посоветовали поговорить сначала с Хадиджой, — может, она сама не хочет вернуться на сцену.

Я стал искать возможность встретиться с ней. Но минуло много времени, прежде чем такой случай представился. Хадиджа не выходила на улицу, даже не навещала свою мать.

Прошло около четырех месяцев после ее свадьбы. И вот однажды мой младший братишка Ихсан прибежал с улицы домой и таинственно сообщил мне:

— Хадиджа пришла к Фатьме-хале.

Я пошел к ним.

Мать и дочь сидели в большой комнате и были так поглощены разговором, что не заметили, как я вошел. Хадиджа тихо говорила что-то Фатьма-хале, та слушала ее, утирая слезы. Я был уже на середине комнаты, когда Хадиджа вдруг обернулась и вскочила на ноги. На лице ее была растерянность. Увидев, что это я, она облегченно вздохнула, невесело улыбнулась.

— Ты напугал меня... Я подумала... — Она не договорила, потупилась, затем вскинула на меня глаза, опять улыбнулась, виновато и робко.

Я увидел, Хадиджа сильно переменилась за это время — похудела, поблекла, под глазами легли синие тени. Но более всего изменилось выражение ее глаз. Прежде они светились задором и озорством, а сейчас в них будто притаился испуг.

Кого и чего она боялась?

Я подошел к ней, сел рядом.

Фатьма-хала отвернулась, чтобы я не видел ее слез. Обе они испытывали неловкость передо мной.

— Итак, Хадиджа, — начал я с наигранной веселостью, желая разрядить атмосферу, — ты уже не будешь играть в наших спектаклях?

— Пока нет, — ответила она сухо.

— А нельзя ли узнать, почему?

— Ох, дома столько дел!.. На мне — хозяйство, муж... — Голос ее задрожал.

Фатьма-хала поспешно вышла из комнаты. Я успел заметить: лицо ее было в слезах.

Сердце мое сжалось.

— Скажи откровенно, Хадиджа, это он не пускает тебя в клуб? Рамазанов?! Ведь так?

Выражение испуга в ее глазах обозначилось еще отчетливей.

— Нет, нет... Я сама... Сама не хочу... Прошу вас, не трогайте моего мужа... Забудьте обо мне!

Хадиджа с трудом выдавливала из себя слова. Конечно, она говорила неискренне.

Что вынуждало ее к этому? Отчего дрожал ее голос? Почему она волновалась? Боялась Рамазанова?.. Было стыдно за допущенную ошибку?.. Страшилась молвы?..

Мне было больно смотреть на нее.

— Хадиджа, — сказал я решительно, — если тебе плохо живется в доме мужа, если тебя обижают, мы, твои товарищи, готовы прийти на помощь!

— Нет, нет... О чем ты говоришь?.. Меня никто не обижает. Я счастлива, очень счастлива!..

Она попыталась улыбнуться, — вместо улыбки получилась жалкая гримаса.

Мне хотелось крикнуть ей: «Ложь, Хадиджа! Ты обманываешь меня!..» Но я почувствовал, мои слова ничего не изменят.

Я вышел из комнаты.

Наш самодеятельный театральный коллектив распался. Мы не могли ставить спектакли, так как у нас не было актрисы на главные роли. Ни одна из наших девушек не была в состоянии заменить Хадиджу. Никто из них не брал на себя смелость сыграть ее роли.

Некоторое время мы подыскивали себе «героиню» среди студенток и молодых учительниц. Наши хлопоты не увенчались успехом. Прахом пошел многолетний труд.

Многие из наших артистов-любителей разъехались кто куда.

Постепенно завсегдатаи клуба начали забывать Хадиджу и наши вдохновенные спектакли.

Один лишь я не мог забыть ее, не переставал тосковать по Хадидже. Она была всегда рядом со мной, перед моим взором. «Как ей живется? — терзался я. — Где она сейчас? Что делает? Счастлива ли?».

Наш маленький городок устроен так, что, если ты запрешься в четырех стенах и скажешь сам себе хоть словечко, через полчаса о нем будет знать весь район.

11.163

М. Ф. Ахундов адына Азербайджан Республика КИТАБХАНАСЫ

Очень скоро жизнь Хадиджи перестала быть тайной для всех. Моя мать рассказывала мне, что Рамазанов плохо обращается с молодой женой, ежедневно бьет ее.

Бьет! Какая дикость! Это же преступление — бить человека!

У меня пропал сон.

Днем я часто бродил по улицам города в надежде встретить Хадиджу. Как правило, местом моих прогулок был район ее дома.

К этому времени звезда Рамазанова начала постепенно закатываться. Его сняли с должности заведующего райфинотделом и лишили персональной машины. В ожидании нового директорского поста он днями сидел дома.

Однажды, проходя мимо их ворот, я услышал злой мужской окрик, звон разбитой посуды, топот ног по ступенькам веранды, затем приглушенный женский вопль. Мужчина говорил что-то раздраженно. Я не мог разобрать его слов, мешали женские возгласы.

Я понял, Хадиджа в опасности.

Толкнув калитку, я вошел во двор, где глазам моим предстала такая картина: Рамазанов за волосы тащил Хадиджу наверх, в дом, она сопротивлялась, цепляясь за перила, и не переставала кричать.

В одно мгновение я очутился на лестнице и ударил по руке Рамазанова. Хадиджа оказалась на свободе.

Рамазанов, увидев меня, смешался, начал приводить себя в порядок — заправил в брюки выбившуюся рубаху, застегнул ворот. Я заметил: одна из его пуговиц вырвана «с мясом».

Хадиджа, крайне смущенная моим появлением, поспешила убежать в дом.

Мы с Рамазановым стояли на лестнице лицом к лицу, он — выше, я —ступенькой ниже. Я ждал, сейчас он кинется на меня с кулаками, и мы скатимся вниз, колотя друг друга.

Но все вышло иначе. По выражению лица Рамазанова, которое вдруг смягчилось, я почувствовал: он принял какое-то иное решение.

— В чем дело? — спросил он нарочито вежливо. — Зачем вы пришли? Кто вам нужен?

Я был еще взволнован.

— Ты не имеешь права поднимать на нее руку!

— Поднимать руку?.. На кого?..

— На Хадиджу. Она не твоя рабыня!

Рамазанов ухмыльнулся.

— Ты в своем уме?.. Что значит — поднимать руку? Хадиджа — моя жена, я — ее муж, мы шутим. Не веришь, сам спроси у нее. Можешь пройти в дом, и поговорить с ней.

Пройти в дом? Легко сказать. Рамазанов стоял передо мной на узенькой лестнице, загородив своим тучным телом проход. Я сделал попытку боком протиснуться между ним и перилами, но он не пропустил меня.

— Постой, постой! Сейчас я позову ее. — Он обернулся к двери и нежным голоском проблеял: — Хадиджа, Хадиджа, милая!..

Как я и предвидел, Хадиджа не отозвалась.

Лицо Рамазанова расплылось в добродушной улыбке.

— Молодая еще, стыдливая, потому не отвечает.

Сказав это, он начал спускаться по лестнице, вынуждая меня пятиться назад. У калитки он добавил уже другим тоном:

— Безобразие! Муж не имеет права пошутить с женой! Всякий прохожий с улицы лезет в твои дела!

Я не мог вымолвить ни слова, будто у меня отнялся язык.

Не успел я опомниться, как он вытолкал меня за ворота. Лязгнул железный засов.

— Смотри, больше не попадайся мне на глаза! — пригрозил Рамазанов. — Еще раз увижу тебя у моего дома — плохо тебе придется! Пеняй тогда на себя.

Спустя десять минут я входил в кабинет нашего секретаря райкома комсомола Джахангира. Он был очень занят, так как вечером в клубе проводилось собрание по итогам первого полугодия в школах; после собрания — концерт, где я был конферансье. Тем не менее Джахангир нашел возможность выслушать меня.

— Пора положить конец этому безобразию, — сказал он. — Завтра в райкоме партии поставим вопрос о Рамазанове ребром. Надо вырвать Хадиджу из его лап.

Однако вечерний концерт сорвал наши планы.

Выйдя на сцену и оглядев полный зал, я вдруг опешил. Я не поверил своим глазам: в первом ряду прямо передо мной сидели Рамазанов и Хадиджа.

Вот тебе на!.. Это ли не доказательство их согласной супружеской жизни? Любящий, внимательный муж заботится о досуге своей жены, хорошо одевает ее, ходит с ней на собрания. Кто может опровергнуть это?

Хадиджа сидела, потупив голову, не глядя на меня. Шею ее украшало дорогое жемчужное ожерелье, в ушах сверкали, переливаясь, бриллиантовые серьги. Лицо — лимонного цвета.

После этого вечера я долго не видел Хадиджу. Я не переставал надеяться, что она в конце концов придет в комитет комсомола с жалобой на деспотизм Рамазанова. Этого не случилось, хотя мы знали: она по-прежнему живет в его доме на положении рабыни. Их соседи были свидетелями постоянных скандалов.

Рамазанова опять назначили директором какого-то учреждения. Теперь у него не было персональной машины, он разъезжал по городу в стареньком, видавшем виды фаэтоне.

Жемчужное ожерелье, бриллиантовые серьги и этот фаэтон-инвалид были платой Хадидже за ее свободу, за право жить по-человечески.

Вскоре я уехал на работу в другой район.

Шли годы. Всесильный лекарь — время исцелило меня от сердечного недуга, образ Хадиджи в моей памяти почти стерся.

2

НЕПРЕОДОЛИМА тяга к местам, где ты босоногим мальчишкой бегал по улицам под сенью душистых акаций, к весенним садам, к терпкому воздуху гор, к лугам в утренней дымке, залитым обильной росой, к дому, в котором ты родился, где прошли твои детство и юность.

Рано или поздно, где бы ты ни был, это чувство, названное поэтами тоской по родине, заставит тебя пойти на вокзал или автостанцию и купить билет. Ясно, куда.

Так случилось и со мной.

Был июнь месяц, точнее, конец июня. Наш городок показался мне царством зеленого цвета всех его оттенков.

Я бродил по улицам чуть хмельной от свежего, горного воздуха и далеких всегда дорогих воспоминаний. Мне было немного грустно. Отчего?.. Трудно объяснить. Да и нужно ли?

Первыми, кто узнал меня и приветствовал, были мои старые друзья — благородные красавицы чинары, нежные задумчивые вербы, крепкие, уверенные в своей силе дубы, игривый ветреный лох.

Знакомые на улицах встречались редко. Почти все мои друзья разъехались. Другие мои сверстники давно стали степенными отцами семейств. Судьба многих моих товарищей и знакомых сложилась трагически. Мы все пережили сложные, тяжелые времена.

Молодежь, естественно, я не знал. В те годы, когда я ходил здесь юношей, они были детьми. Теперь они обращались ко мне почтительно, говорили: «Эми».[1] Но я был уверен, они не знают, кто я, откуда приехал. Им было не до меня. Их беспечный смех и веселые голоса порождали в моем сердце понятное каждому чувство зависти.

На второй день моего приезда я увидел на заборе театральную афишу: «Районный самодеятельный театр ставит сегодня пьесу Джафара Джабарлы «Севиль».

Читая афишу, я ощутил в груди волнение. Опять в душе пробудились воспоминания прошлого. И еще одна мысль пришла мне в голову: «Мы стареем, уходим... А Севиль молода, как и прежде. Севиль не стареет!».

Под вечер я пошел к нашему клубу (моему клубу!). Увы, мы не встретились с ним. На его месте стоял сверкающий огнями Дворец культуры.

Конечно, я был приятно удивлен. Но вы поймете меня и не осудите, если я чистосердечно признаюсь, что к этому чувству примешивалось еще и нечто другое, совсем — совсем другое. Опять грусть?.. Может быть. Странная вещь порой — человеческое сердце. Однако почти тотчас я подумал: «Мы в свое время только мечтали о настоящей сцене, хорошей акустике, красивом зрительном зале.. Теперь все это есть».

Вот один из примеров того, как мечта одних становится явью для других.

Это ли не добрая примета времени?

Я с удовлетворением отметил, что в зрительном зале много девушек и женщин.

Опять примета?..

До моих ушей долетали обрывки разговоров. Спорили о кино, книгах.

И это примета!

Раздвинулся занавес, началось первое действие.

В спектакле все было ново для меня, начиная от актеров, кончая режиссерским замыслом. Играла молодежь. Роль Балаша, мою любимую роль, исполнял высокий худощавый парень. В первые минуты я подумал, что он слишком сутуловат, потом как-то забыл об этом. В конце первого действия я был уже его пленником. Голос — глуховатый, но гибкий, глубокий. В третьем действии, в сцене с гостями, пение его вызвало в зале аплодисменты. Ему пришлось повторить песню на бис.

Старики Атакиши и Бабакиши говорили голосами, из которых прямо-так выпирала двадцатилетняя юность. Наклеенные на их лица усы и бороды не спасали положения.

Особое мое внимание привлекла сама Севиль. Ее играла миловидная девушка, по всем признакам, любимица публики. Каждое ее появление на сцене сопровождалось аплодисментами. Нельзя сказать, что все было безукоризненно в ее игре. Но в ней было столько обаяния и непосредственности, что это невольно покоряло самого взыскательного зрителя. В частности, я говорю о себе.

Роль Дильбер-ханум играла неприятная особа, бесформенная и неповоротливая, которая то и дело сбивалась с текста, часто смотрела в зал, а в конце каждого действия, когда зрители вызывали актеров на сцену аплодисментами, неизменно оказывалась впереди всех.

[1] Эми — вежливое обращение к старшим, буквально дядя.

Вначале я не обратил на нее большого внимания. Меня интересовали молодые актеры, игравшие в пьесе совсем иначе, чем мы в свое время. У них была своя манера исполнения. Рассказ стариков Атакиши и Бабакиши о революционных событиях был сделан с помощью кино. Свидание Балаша и Севиль после ее возвращения из Москвы было вынесено на авансцену. Встреча, когда они не узнают друг друга, была показана посредством немой сцены.

Словом, в работе режиссера было много интересных находок, которые отвлекали мое внимание от посредственной Дильбер-ханум.

Однако зрители не прощают актерам даже малейшей фальши, которую извиняем мы, профессионалы, поддавшись обаянию общего ансамбля. У зрителя есть склонность давать оценку каждому исполнителю в отдельности. Всякий раз, когда Дильбер-ханум появлялась на сцене, я слышал шепот сидящих в зале:

— Опять эту корову выпустили на сцену...

— Та, другая, играет эту роль много лучше...

— Говорят, она заболела...

— Да нет, поехала на месячные курсы. Послали от завода...

Эти реплики сказали мне о том, что, как и прежде, в нашем городе любят театр и жизнь его кулис не тайна ни для кого.

После представления актеров несколько раз вызывали на сцену. Особая доля успеха досталась девушке, игравшей Севиль.

Нельзя было не обратить внимания на мужчину, сидевшего в одном из передних рядов, который, выражая свой восторг, не жалел ладоней и горла. Его голос перекрывал все другие голоса:

— Севиль!.. Браво!.. Севиль!..

«Явное пристрастие, — подумал я. — Наверное, кто-нибудь из родственников актрисы».

Сидя сзади, я не мог видеть его лица. Обильная седина и небольшая лысина на макушке выдавали в нем человека в летах.

Зрители начали покидать зал.

Я пошел за кулисы, намереваясь представиться молодым актерам, моим землякам, и поздравить их с успехом.

У двери в большую ярко освещенную комнату, где находились актеры, я столкнулся с тем самым седоволосым пожилым мужчиной, который так страстно аплодировал актрисе, игравшей Севиль. В руках его был большой букет роз. Войдя в комнату вслед за ним, я увидел: он стоит перед Севиль и преподносит ей цветы. Девушка (она успела переодеться и была без грима) зарделась, улыбнулась смущенно и в то же время радостно, я бы сказал, по-детски. С минуту она удивленно-восторженно смотрела на букет, затем протянула к нему руки.

И вот тут-то произошло неожиданное. Бесформенная особа, игравшая Дильбер, опередив ее, бросилась к цветам, вырвала их из рук седоволосого и что было силы хлестнула его ими по лицу.

— Теперь за этой начал увиваться?! Хочешь и ей исковеркать жизнь! — выкрикнула она хриплым голосом.

Мужчина растерялся, попятился к двери, желая ретироваться, и натолкнулся на меня. Обернулся. Мы очутились с ним лицом к лицу. Я узнал его.

Это был товарищ Рамазанов.

Он сильно изменился с тех пор, как мы виделись в последний раз.

Не мудрено. Время, этот своеобразный гример, постоянно изменяет наши лица, в манере самой реалистической школы, для которой основные законы — естественность, предельная выразительность и верность правде жизни.

Возможно, я узнал Рамазанова по глазам, бесцветным, ускользающим, таким же нагловатым, как прежде.

Он не признал меня. Оттолкнув меня плечом в сторону, он быстро вышел из артистической.

Бесформенная толстуха метнулась вслед за ним, но, так как я стоял в дверях, атака ее оборвалась.

Мы и с ней очутились лицом к лицу. Я узнал и ее.

Выражение лица женщины мгновенно изменилось. Что это было?.. Удивление? Растерянность? Смущение?..

Да, это была Хадиджа.

Великий маэстро-гример приложил свою руку и к ней. Он не просто набросал на ее лице штрихи, свойственные стареющей женщине (ведь даже старец может выглядеть бодрым и приятным), он вывел на ее лице душевную дряхлость, ту, которая вызывает у других жалость и сочувствие, а порой даже — чувство брезгливости.

Вблизи она выглядела еще более нескладной и отталкивающей. Куда делся цвет лица, который в моем юношеском воображении ассоциировался с белой черешней? Волосы—сальные, неопрятные, чрезмерно окрашенные хной. Где они, те шелковистые каштановые пряди? На правой щеке и на лбу несколько белесых широких шрамов, по виду давнишних. Не скажу, чтобы они сильно безобразили ее лицо. Просто, когда я заметил их, сердце мое сжалось. Однажды я видел лицо, изуродованное порезами. Это был один мой знакомый, московский режиссер, чудом уцелевший в автомобильной катастрофе. Осколки переднего стекла «Победы» в нескольких местах врезались в его лицо. Глаза чудом уцелели.

Осколки!..

Сейчас, глядя в лицо этой дряхлой женщины, я подумал об осколках. Осколки, осколки... Постойте!..

Что-то начало проясняться в моей памяти. И вдруг мне отчетливо вспомнился день свадьбы.

Пищал кларнет, гремел барабан. Шофер Рамазанова без конца сигналил. Из ворот вышли жених и невеста, вся в белом. Затем замешательство, вызванное разбитым зеркалом. На земле лежат его осколки.

Да, я не верю в приметы.

Конечно же, не те блестящие осколки разбитого зеркала явились причиной того, что жизнь Хадиджи оказалась сломанной. Нелепое случайное совпадение, закономерность которого доступна пониманию не только ученых мужей, таких, как Эйнштейн, но понятна и нам, простым смертным.

Не случайно другое — сама трагедия Хадиджи.

Из дворца культуры мы вышли вместе. Я пошел проводить ее.

Всю дорогу Хадиджа рассказывала о себе.

Жизнь с Рамазановым была цепью бесконечных обид, унижений и побоев. Она покорно терпела. Потом он бросил ее.

Идя рядом с ней, я старался не смотреть в ее лицо. Но я не мог не слышать ее голоса. Неужели это был голос моей Хадиджи? Хрипловатый, усталый, надломленный. И чужой, совсем чужой.

Думая об этом, чувствуя это, мне хотелось оправдать себя. Не я был виноват в том, что в эти минуты сердце мое оставалось глухим к воспоминаниям юности и даже слабым отзвуком не откликнулось на лирические отступления идущей рядом со мной женщины, которая, оказывается, не забыла о моем юношеском увлечении ею.

Увлечении ли?.. Нет. Я шел с человеком, которого не просто пылко обожал когда-то, но чувство к которому, первое сердечное чувство, самое сильное и самое чистое, — одно из немногих ярких событий, отмеряющих человеческую жизнь, — рождение, первый школьный звонок, первая любовь, первый осязаемый плод твоего труда, первый ребенок и... Остальное домыслите за меня.

Но, в то же время, рядом со мной шел совсем чужой человек, — неинтересный, необаятельный. И к тому же бесталанный, чему я был свидетель в зрительном зале.

Жизнь изуродовала, изменила мою Хадиджу. Жизнь — в лице тупого бессердечного самодура! Жизнь — как цепь недобрых для Хадиджи обстоятельств! Жизнь, одним из многообразных проявлений которой явились тщеславие неискушенной девушки, ее безволие и рабская покорность.

При чем же здесь разбитое зеркало? Надо говорить о неудачно сложившейся человеческой судьбе, разбитых надеждах.

Долго мы шли молча.

— А что сейчас делает Рамазанов? — поинтересовался я.

— Работает директором продмага.

В голосе Хадиджи прозвучала унылая ирония. Мне тоже стало тоскливо.

«Рамазанов—директор. Вечный директор! Прирожденный директор!».

Хадиджа остановилась.

— Живет себе припеваючи. Сотню за деньги не считает. Развелся со мной, женился на другой. Ее тоже бросил. Теперь охмуряет молоденькую учительницу. Я говорю о той, что играла сегодня Севиль. Дарит ей цветы, хочет вскружить голову вниманием и подарками. У этого человека какая-то мания: влюбляется в каждую, кто играет Севиль. Ты ведь знаешь, он и меня сбил с пути.

— Не ты ли сама виновата, Хадиджа? — мягко возразил я. —Вспомни, что я говорил тебе перед свадьбой.

— Да, ты говорил. Но и он не молчал. Он был красноречивее тебя. Лгал, уговаривал. Обещал повезти в Баку. Говорил: «У меня там друзья, которые устроят тебя в театр. Станешь великой актрисой». Он лгал, лгали его подарки, его машина, его внимание. Остальное ты знаешь. Он сломал мои крылья и отшвырнул их прочь, как ненужную вещь.

Мы свернули в знакомую улицу, похожую на тополиную аллею. Союзница ночи, тусклая лампочка, на столбе у ворот дома, в котором когда-то жил я, погружала улицу в сплошную тень.

Вдруг Хадиджа умолкла и сжала мою руку. Каюсь я готов был истолковать ее жест по-своему.

— Смотри, кто-то стоит у нашей калитки, — прошептала она настороженно.

Действительно, я увидел силуэт человека. Когда мы приблизились, человек шагнул навстречу нам и приглушенно пробормотал:

— Хадиджа, попрощайся со своим знакомым. Мне надо сказать тебе кое-что.

Я узнал голос Рамазанова.

Хадиджа бесстрашно подступила к своему бывшему спутнику жизни.

— Что ты можешь сказать мне?! Теперь я не прежняя Хадиджа, с которой ты привык разговаривать кулаками. Я тебя сейчас!..

— Хадиджа, Хадиджа, успокойся... — мягко пропел Рамазанов. — Я пришел не браниться с тобой. У меня к тебе дело... Ну, просьба... Об этом нельзя говорить при посторонних.

— Это мой брат, — отрезала Хадиджа, оборачиваясь ко мне. — Говори при нем, что тебе надо?

Рамазанов сделал шаг ко мне, пригляделся.

— А-а-а, сосед!.. — протянул он насмешливо. — Изменился, изменился, едва узнал тебя.

Он подал мне руку. Я сделал вид, будто не замечаю ее. По-моему, это не смутило его.

— Что ж, слушай тогда, Хадиджа,—начал он сдержанно.—При соседе твоем прошу: не стой на моем пути! Лучше не трогай меня, не вмешивайся в мою жизнь. Да, я дарю ей цветы,—тебе какое дело?

— Не позволю!.. Я не хочу, чтобы ты и ее сделал несчастной!

— Тебе-то что?! Или ты завженотделом?

— Неважно! Но я сорву твои планы. Я разоблачу тебя, вор! Прежде ты уповал на своих покровителей в верхах, — теперь на деньги надеешься?!. Думаешь, я не знаю про твои аферы?.. Государство грабишь?!. Разве магазин — твоя собственность? Я не буду молчать.

Кажется, Рамазанов испугался.

— Опомнись, Хадиджа, что ты мелешь?..—сказал он, переходя на шепот, затем повернулся и пошел прочь. Перед тем, как скрыться за углом, остановился и пригрозил: — Ничего, Хадиджа, мы еще встретимся с тобой! Твой сосед не останется здесь вечно!

Если начать подробно описывать то, как мы с Хадиджой взялись за Рамазанова, полные стремления вывести его на чистую воду, получится целая детективная повесть. Это не входит в мой замысел. Скажу коротко, случилось то, что должно было произойти давным-давно, двадцать лет назад: Рамазанов раз и навсегда был свергнут с пьедестала директорства. Больше того, через две недели он предстал перед судом. Хитрец сопротивлялся как мог, лгал, изворачивался, даже пытался «подмазать».

Лишь сам измазался еще больше. А ведь в иные времена он мог бы выйти сухим из воды.

Опять добрая примета времени!

Заканчивался мой отпуск.

Встречаясь с Хадиджой, я советовал ей оставить сцену. Я был откровенен с ней до резкости.

— Пойми, у тебя нет таланта, Хадиджа! Ты потеряла его навеки. Теперь поздно искать виновных, да и тебя бессмысленно обвинять. Кроме того, внешность у тебя не сценическая. Или ты сама не понимаешь этого?!

— Без театра не могу, — отвечала Хадиджа.

И я видел: не может. Мне было горько, как человеку, близко увидевшему горе другого.

За день до моего отъезда Хадиджа пришла в гостиницу, где я жил. Красные опухшие веки и выражение ее лица говорили о том, что сегодня ей пришлось много поплакать, и теперь мне тоже угрожает опасность оказаться в роли свидетеля новых слез и одновременно в роли брата-утешителя.

— Сегодня наш режиссер Наби объявил, что никогда больше не выпустит меня на сцену, — сказала она подавленно. — Прошу тебя, сходи к нему, вступись за меня. Тебе он не откажет. Мальчишка!.. Я дня не могу прожить без театра.

По опыту прошлых разговоров я знал, что мои нравоучительные дружеские советы ни к чему не приведут. Да и какой был смысл опять, в который раз, бередить кровоточащую рану Хадиджи.

— Хорошо, что-нибудь придумаем, — ответил я неопределенно.

Вечером я встретился с Наби. Наша беседа затянулась, как часто бывает в разговорах об искусстве, о жизни, о людской судьбе.

Наби пообещал устроить Хадиджу на постоянную работу при дворце культуры.

Я сказал:

— Дорогой Наби, дело не просто в трудоустройстве Хадиджи. Сам по себе дворец культуры не так уж нужен ей.

— Будет выполнять техническую работу при театре. По возможности будем привлекать ее к участию в массовых сценах. Это все, что я могу сделать для нее. — Помолчав, Наби добавил: — И для вас. Судьба этой женщины трагична. Кажется, это ваши слова, не правда ли? Впрочем, я и сам так думаю. Но разве есть трагедии со счастливым концом? Вы, драматург, знаете эту простую истину не хуже меня. Одно обещаю: Хадиджа будет при театре.

Я часто думаю о судьбе Хадиджи, которая лишний раз подтверждает: сцена, кроме таланта, требует самопожертвования и гигантских усилий о того, кто любит ее и хочет служить ей. Слава придет потом, как частичная (именно частичная!) и неполная награда за этот подвиг.

Мешади Ибад

ЛЕТОМ 1942 года наша небольшая концертная бригада покинула город Казах, направляясь в Агдам.

Евлах встретил нас тридцатиградусной жарой. Раскаленный воздух дрожал и струился над железными крышами и глинобитными кровлями. Подошвы приставали к размякшему под солнцем асфальту.

Война давала знать о себе во всем.

Между Евлахом и Агдамом ходило всего два автобуса, допотопных, дребезжащих, которые часто ломались в дороге и выходили из строя на несколько дней.

На автостанции в Евлахе происходило вавилонское столпотворение. Часто меняющиеся самозванные блюстители порядка то и дело устанавливали очередь, устраивали переклички, а когда подъезжал автобус, первыми садились в него, передавая «обезглавленную» очередь власти анархии, где успех выпадал на долю самых проворных и крепких телом.

Наша концертная группа состояла из трех музыкантов, одной танцевальной пары (Вахтанг Давидашвили и Неля Насибова), исполнительницы народных песен Солмаз Мирзоевой, ашуга Керима, нашего администратора Агасалима и меня — руководителя бригады. Итого, нас было девять человек.

Самый молодой среди нас — танцор Давидашвили, шустрый, общительный юноша-грузин. Он неплохо исполнял азербайджанские танцы и был незаменимым помощником Агасалима.

В Евлахе на автостанции они развили активную деятельность, однако скоро стало ясно, что шансов уехать в этот день почти нет. В

списке очереди перед нами людей было на добрый десяток автобусов. Что делать?

Я с мольбой посмотрел на Агасалима:

— Предприми что-нибудь.

Мой администратор ответил по обыкновению в нос:

— Подумаю.

Мы немного воспрянули духом. Раз Агасалим обещает подумать, значит, дело будет.

Сообразительный и живой Агасалим был, можно сказать, мастер на все руки. Когда кто-нибудь из членов бригады заболевал, он с успехом заменял его. Агасалим отлично исполнял танец Мешади Ибада из комедии Узеира Гаджибекова.

Вот один из примеров его изобретательности и находчивости.

В Казахе мы оказались в безвыходном положении. Не осмотрев заранее концертного помещения, мы расклеили афиши и распродали билеты. Приходим в местный театр и видим: в зрительном зале нет ни одного стула.

Как быть? Не сядут же зрители на пол?

Мы бросились к администратору театра:

— Нужны стулья или скамейки. Иначе горим!

Администратор разводит руками, отвечает:

— Ничего не могу поделать. Стульев нет и не будет. А я вам не мебельная фабрика.

— Агасалим, — кричу я в отчаянии, — вся надежда на тебя! Сделай что-нибудь.

— Подумаю, — сказал он, как обычно, в нос.

Немного погодя, уже в гостинице, заявляет мне:

— Я пошел в город, может, найду что-нибудь. Под лежачий камень вода не течет.

Мы остались ждать. Прошел, час, другой — от Агасалима ни слуху, ни духу. Я уже начал думать с тоской, что концерт придется отложить.

Под вечер Агасалим вернулся в приподнятом настроении.

— Сидите?!. — бросил он с порога. — Идите на балкон и взгляните, что делается на улице.

Мы выбежали на балкон, где нашим изумленным взорам предстала такая картина: улица была запружена солдатами, которые несли стулья и скамейки.

— Что это? — удивился я.

Казалось, лицо Агасалима излучает солнечный свет.

— Разве не видишь?.. В театр несут.

Мы наперебой начали пожимать руку Агасалима. Неля и Солмаз даже расцеловали его.

— Объясни, пожалуйста, Агасалим, что это за чудеса в решете? — спросил я. — Ты подлинный маг и чародей.

Излишне говорить, что в эту минуту Агасалим чувствовал себя на седьмом небе.

— В городе я узнал, — начал он, — что здешний комендант станции — полковник-грузин. Я пошел в комендатуру. Дежурный сказал мне, что полковник поехал обедать. Я направил свои стопы к его дому. Дверь мне открыла молодая приветливая грузинка, его жена, пригласила в дом. Я вошел и вижу: полковник сидит за столом, читает газету. Поднял голову, вопросительно посмотрел на меня. Я говорю ему: «Привез Давидашвили!» «Кого, кого?» — спрашивает. «Давидашвили, — повторяю. — Вечером концерт». Полковник встает со стула, в глазах его

приятное изумление: «Нашего Давидашвили?» Я киваю головой: «Так точно, нашего Давидашвили. Только боюсь, опозорились перед ним!» «Это почему же, генацвале? — Спрашивает он. — Думаешь, в зале будет мало народу?» — «Нет, — говорю, товарищ полковник, не в этом дело. Все билеты давно проданы. Но в театре нет стульев, не на чем сидеть. Вместо зрительного зала — спортплощадка!» Полковник улыбнулся: «Пустяки, дорогой, пустяки. Это не должно тревожить вас. Сейчас я дам команду, чтобы наши бойцы доставили в театр стулья и скамейки. Но у меня к тебе просьба, кацо: два места оставь за мной». Вот, собственно, и все. Результат налицо! — Агасалим сделал жест рукой в сторону улицы.

Его находчивость восхитила всех. Больше других хохотал наш юный Давидашвили. Лишь один я не разделял общего веселья.

— Нехорошо обманывать, Агасалим. Что мы скажем полковнику вечером?

— Как что скажем? — усмехнулся Агасалим. — Разве наш Вахтанг — не Давидашвили?

— Давидашвили, только не тот...

— Какое нам дело?.. Ведь полковник не спросил меня, какого Давидашвили я привез. Формально мы никого не обманули.

Мои опасения оказались напрасными. Наш администратор знал, что делает. После концерта полковник пришел к нам за кулисы. Хитрость Агасалима пришлась по душе ему. Посмеиваясь, он несколько раз повторил:

— Федот, да не тот...

И вот сейчас в Евлахе, изнывая от жары на автобусной остановке, мы уповали исключительно на находчивость Агасалима, который предавался размышлениям, сидя на большом круглом камне у билетной кассы. Я мысленно сравнил его с Наполеоном, любившим, сидя на барабане, обдумывать план сражения.

Через некоторое время Агасалим поднялся с камня и, потягиваясь, сказал:

— Пойду посмотрю, что можно сделать. Под лежачий камень вода не течет.

Он удалился, а мы принялись ждать. Иного нам ничего не оставалось. Взять билеты в порядке очереди не было ни малейшей надежды.

Спустя час мы проводили автобус в сторону Степанакерта. Да как проводили! Едва он остановился у автостанции, люди, забыв про очередь, начали совершать посадку через окна. Лезли все — и те, у кого были билеты, и те, у кого их не было. Представляете, что творилось?.. Крики, брань, проклятия...

Что касается нашей артистической миссии, она была, как сами понимаете, ответственной и благородной. Мы ездили с концертами по районам Азербайджана. Несмотря на тревожную обстановку на фронтах, наши концерты пользовались у населения неизменным успехом. Случалось, вместо трех дней по плану, мы задерживались в райцентрах по десяти дней.

Солнце начало сползать с зенита. Вдруг видим: мчится наш «Наполеон». Подбежал ко мне, запыхавшись.

— Скорей, скорей, — говорит. — Берите вещи!.. Сейчас нас арестуют!

— Как арестуют?!.. За что?!..

— Некогда объяснять. Скорей!.. Вон идут!..

К нам подошли два милиционера с карабинами за плечами — патрули. Один из них громко спросил:

— Кто у вас за старшего?

— Я, — отвечаю.

— Зачем вы приехали в Евлах?

— Мы в командировке, товарищ. У нас документы...

— Поедете с нами! — приказывает он. — Там разберемся.

И тут рядом останавливается машина. Второй милиционер берет винтовку наперевес.

Вокруг нас тотчас образовалась толпа. Убежден,—сочувствующих нам не было. Те, кто в очереди за билетами стояли после нас, должны были радоваться, так как перед ними убыло столько народу.

Милиционеры поднялись в машину вслед за нами, и грузовик тронулся. Я в растерянности поглядывал то на милиционера, то на Агасалима. Все молчали. Наша Неля начала всхлипывать.

Агасалим обернулся к ней.

— Надо же понимать человеческий язык!

Что там понимать? Разве он объяснил нам, за что нас забрали.

Минут через десять остановились.

— Выходите! — распорядился один из милиционеров, открывая дверцу.

Мы по очереди спрыгнули на землю.

Милиционер, который только-что на автостанции грубо разговаривал со мной, спросил с улыбкой:

— Ну, как я сыграл?

Я пожал плечами:

— Объясните, мы ничего не понимаем.

Агасалим рассмеялся:

— Я встретил на вокзале моего старого друга.

Я рассказал ему о нашем положении, и мы придумали эту шутку. Мы доставим вас в Агдам.

Милиционеры взяли под козырек и, пожелав нам успехов, ушли.

Я сказал:

— Девушки, марш в кабину! Поедете с шофером.

Нели и Солмаз не подчинились мне, настояли, чтобы в кабину сел я.

И вот мы мчимся в машине по дороге в Агдам. Мои артисты сзади поют, пританцовывают.

— Репетируют! — улыбаясь, подмигивает мне шофер.

Улыбаюсь и я.

Когда мы въезжали в Агдам, Агасалим исполнял па из танца Мешади Ибада.

Тут уж я хохотал. Забавно!

Перевод Игоря ПЕЧЕНЕВА.